

ных, в магазинах становился все более и более скудным. Тетради стали делать из зеленоватого цвета низкосортной бумаги, поверхность которой была волокнистой и шершавой; перо № 86, специально предназначенное для того, чтобы писать с правильным нажимом, т. е. меняя толщину линий в зависимости от начертания букв и цифр, постоянно цеплялось за невидимые препятствия, разбрызгивая чернила и оставляя множество клякс. Жизнь становилась все более и более трудной, но я этого тогда по малолетству еще не осознавал.

Утром 1 сентября 1929 года мама, как всегда, проверила, достаточно ли я добросовестно помыл шею и уши, надела на меня новую рубашку, помогла туго затянуть ремень и укрепить на спине ранец, и мы отправились первый раз в школу. Обычного ныне церемониала с цветами, подарками педагогам и первым звонком тогда не было, и быть не могло. Мама перевела меня через трамвайные пути на Канатной, затем остановилась и сказала: "Дальше пойдешь один. Думаю, что то, что я вложила в тебя, принесет достойные плоды! Учись хорошо! Днем, когда будешь возвращаться из школы, я на этом месте тебя встречу". Она на прощание поцеловала меня, и я пошел... Правда, поворачивая голову, я еще долго видел ее на том месте, где мы расстались. Закончилось мое детство, и наступила непростая пора отрочества...

Окончание следует



## Helen

Я увидела ее впервые почти полвека назад. Я возвращалась из школы и на углу Большой Арнаутской и Канатной заметила идущую навстречу женщину, каких в нашем убогом послевоенном детстве видеть мне не приходилось. В ней было что-то не отсюда, не из этих краев. Думаю, она не заметила моего восторженного взгляда, ее синие с фиалковым оттенком глаза были обращены внутрь и не замечали ни грязного тротуара, ни вывороченного нутра черного хода продовольственного магазина, выброшенных ящиков из деревянных реек, при виде которых на руках немедленно возникали ссадины, ни замасленных черных бочек. Она прошла мимо меня, я заворожено оглянулась вослед, рассматривая уже со спины ее пальто, ее шляпу. (Когда через много лет я буду рассказывать ей об этом первом "свидании", описывать ее пальто и шляпу, их фасон и цвет, она, улыбнувшись своей неповторимой улыбкой, подивится моей памяти, а я буду ссылаться не на память, а на первое же произведенное ею впечатление, поразившее мою детскую душу.)

Пройдет еще какое-то время, и я узнаю, что эта женщина — мама девочки, появившейся недавно в нашей школе, в параллельном классе, также поразившей меня при первой же встрече своей "нездешностью". Еще издали я увидела летящую походку девочки, одетой в светлое пальто с золотистым цигейковым воротником, так чудесно оттенявшим персиковую кожу ее лица, зеленые, как крупные виноградины, глаза и чуть рыжеватые волосы. Волосы сразу вызвали чувство восхищения и зависти. Мы все ходили с косичками, туго затянутыми в "мышинные хвостики", а если кто и носил стрижки, то это были чаще всего какие-то сиротские, вызывавшие скорее жалость оголенными затылками, беззащитные головки. У незнакомой девочки была стрижка принца из легендарной "Золушки" с Яниной Жеймо — челка, и на плечи спускавшаяся волна волос!

И при первой встрече, и при второй я еще не знаю, что судьба подарит мне долгую, на всю жизнь, дружбу и с этой девочкой, Линой Шац (уже много лет как она своим поэтическим, художественным талантом известна интеллектуальной Европе как Evelina Schatz, и, увы, осталась так мало нас, тех, кто по праву любви и дружбы с детских и юношеских лет называет ее домашним именем — Лина), и с ее мамой — Еленой Осиповной Мюллер, Helen, как называли ее в семье, да и со всей этой удивительной семьей, при воспоминании о которой я повторяю лермонтовскую строчку:

"Тучки небесные, вечные странники...", так невероятно география и судьба этой замечательной семьи. Не мои скромные повествовательные способности, а талант великого романиста могли бы создать эпическое полотно об этом семействе, где отразились бы "век нынешний и век минувший", испытания, страдания, радости, самопожертвование, благородство и достоинство.

Подданные Австро-Венгерской империи, родители Елены Осиповны — Анна и Джозеф Мюллер — переехали в Америку, где стали состоятельными людьми. В 1916 и в 1917 году соответственно родились девочки — Елена и Жозефина. Но к этому времени крепко стоявший на ногах отец семейства увлекся социалистическими идеями. Он продал всю недвижимость, закупил сельхозтехнику, для чего ему пришлось нанять целый пароход, в трюмах которого, почему-то в бочках (так рассказывала мне Елена Осиповна), везли еще и сотни метров тканей, из которых Анна Матвеевна сшила потом одежды для воспитанников детского дома. Так в 1924 году семья оказалась в Советском Союзе. Их вначале направили в какую-то коммуны под Херсоном, а потом, то ли в 1927, то ли в 1928 году они оказались в Одессе. Девочки поступили в немецкую школу, знаменитую Паульшупе при кирхе. В это время там учился и Святослав Рихтер. И Хелен рассказывала, как ей было его жалко, ведь он был увальнем в детстве, и более прыткие ученики над ним посмеивались. Мюллерам дали непригодное для жилья помещение во дворе на Белинского, 6, (уже нет этого двора, вытесненного новостройками, он навсегда остался только в нашей памяти). Эти две комнатки и кухню (удобства — во дворе) волшебные руки Анны Матвеевны и ее безупречный вкус превратили в благородное и элегантное жилище, ставшее теплым и гостеприимным домом для многих и многих друзей. В тридцатые годы здесь бывали политэмигранты из Германии, и, как рассказывала Елена Осиповна, все обеды в доме, все вечеринки начинались и заканчивались словами "Рот фронт!". Они еще не знали, какие трагедии ждут их в ближайшие годы, и оставались романтиками социализма.

Время шло, девочки выросли. Хелен поступила на керамическое отделение Художественного училища, где ее учителем был Михаил Жук. Очевидно, что замечательный художник, чувствовавший себя чужим в советизированной среде училища, выделил из всех юную студентку не только за ее способности, но и за то, что теперь назвали бы отсутствием "совковости". Во всяком случае, Елена Осиповна с благодарностью вспоминала своего первого учителя и украинское звучание ее имени в его устах — Оленка.

Жозефина (Жози, как звали ее в семье, и как с любовью до сих пор зовем ее мы) училась в немецком педине (был такой до войны в Одессе!). И Хелен, и Жозефина нашли своих избранников среди сокурсников. Хелен вышла замуж за Мануэля Шаца, Жози — за Эдуарда Штефана, который был родом из Петерстала (нынешнее Петродолинское). Так начала расширяться география этой семьи — от канувшей в Лету Австро-Венгерской империи до Филадельфии, оттуда — в Одессу и Петерсталь. Пока так. У сестер рождаются дети: у Хелен Эвелина, у Жозефины — Эдгар. Все настаивают на том, что Хелен должна учиться дальше. Оставив маленькую Лину на попечение бабушки, она поступает в ленинградскую Академию художеств. Анне Мюллер можно было доверить не только маленькую внучку, ей можно было, на мой взгляд, доверить человечество. Толку было бы больше, чем от всех политиков, вместе взятых!

"А дни все грозней и суровой...", как сказано у Пастернака.

Эдуард Иванович Штефан побывал "на той войне незначительной", на финской. Вернувшись с нее, имел неосторожность где-то кому-то выказать свою озабоченность боеспособностью оружия Красной Армии, за что и поплатился арестом. Это был первый удар по семье, если не считать, конечно, того, глобального, связанного с приездом в Советский Союз!

Так с этим первым арестом зловещая география ГУЛАГа распространяется на эту семью.

Наступает 22 июня. И уже вскорости энкаведешники приходят за Джозефом Мюллером. Жозефина в буквальном смысле бросается на них, чтобы вырвать отца из их лап. Вместе с отцом забирают и ее... Ждущую второго ребенка (родившегося в пересыльной тюрьме и там погибшего). Жози рассказывала, как пострадавшие ей женщины делились с ней ржавой селедкой. Как на каком-то этапе она встретила колонну заключенных, в которой был ее Эдуард. Он смог только крикнуть: "Что с ребенком?!", а она, окаменевшая от горя, смогла только показать пальцем на землю. Он ее понял.

Анна Мюллер провожает Линочку с бабушкой и дедушкой Шацами в эвакуацию. Они должны уплыть на теплоходе "Ленин". В скором времени до Одессы доползает страшная весть: "Ленин" взорван. Все погибли. Но бывают чудеса. В эвакуационной сумятице и неразберихе Шацы с внучкой не попали на "Ленин", а оказались на другом теплоходе. Но Анна Матвеевна ничего об этом не знает, все годы оккупации живет и с этой раной в сердце.

И еще одна рана — она ничего не знает о судьбе Хелен в Ленинграде. Она остается одна, в чужой стране (до конца своих дней она говорила по-русски с милым акцентом, путая падежи) с маленьким Эдгаром, Эдей, на руках. Ему еще нет и двух лет.

16 октября в Одессу вошли немцы. Начинаются облавы, виселицы, начинается Холокост в Одессе. У Анны Мюллер соседи — Коля, русский, его жена Вера — еврейка... Анна Матвеевна забирает Веру к себе, прячет ее в погребе под кухней, вырытом для картошки еще до войны. Коля соседям объясняет, что Вера успела уехать... Маленького Эдю Анна Матвеевна отдает фребеличке. Сама же идет работать в офицерскую столовую для того, чтобы носить оттуда сумки с продуктами. Не для себя. Коля связан с партизанами. Ему передает она эти сумки. И сведения, которые она могла узнать из разговоров немецких офицеров, полезные для партизан.

Ночью отодвигался шкаф, из своего подполья выходила Вера, чтобы помыться, подышать. Они слушали приемник, Вера записывала сводки Совинформбюро, а Анна Матвеевна иногда сама возила их с продуктами к катакомбам, но чаще передавала Коле. Как-то, через много лет, она рассказывала, смеясь, что с Николаем она встречалась в городе, чтобы не привлекать внимание соседей. Но однажды их кто-то увидел вместе. И по двору пронесся слух, что у Анны с Николаем роман. К счастью, слух был недолгим.

Она спасла Вере жизнь. И хоть она не стала официально Праведницей мира — никто попросту этим не занимался, к сожалению, — но для нас, всех, кто ее знал, она осталась таковой в нашем сердце и в нашей памяти. Потому что только праведница, перенесшая то, что перенесла она, могла стать выше ненависти к бесчеловечной власти во имя спасения человека.

Одесса освобождена. Вера вышла из своего спасительного заточения. Но над головой Анны Мюллер сгущаются тучи. Как же, немка, жившая в оккупации! Несколько раз двор на Белинского, 6, оглашался детскими голосами: "Эдька, беги, твою бабушку пришли арестовывать!". И хоть до ареста не дошло, но она долго была под дамокловым мечом, несмотря на спасение Веры, на помощь партизанам... Подтверждение ее заслуг пришло гораздо позже. Еще позже, после пятидесяти лет жизни на Белинского, без удобств, с печным отоплением, она наконец-то получила квартиру на самом краю Таировского жилмассива...

А что же Хелен? Когда началась война, Хелен от ареста спасло только то, что в паспорте, в пятой графе, у нее была запись — американка. Так что союзнические отношения оказались для нее спасительными. Она расска-

зывала, как сразу, как только начали готовить к эвакуации музеи, их, студенток Академии, послали в Эрмитаж упаковывать фарфоровые коллекции. Интересно, сколько предметов в эрмитажных собраниях фарфора хранят прикосновения ее бережных рук? А потом началась блокада. И ее, почти погибающую, удалось спасти, увезти по коварному льду Дороги жизни, пролегшей через Ладожское озеро.

После войны, уже с Линой и мужем, она живет в Москве. Но жизнь в ее прекрасное лицо смотрит злыми глазами. Мучительный (не по ее вине, о подробностях не смею распространяться) разрыв с мужем. Ее догоняет и в буквальном смысле стреляет ей в спину война, блокада. У нее начинается костный туберкулез. Она вынуждена уехать с Линой из Москвы, вернуться в Одессу. К маме.

Дружившая с этой семьей еще раньше, чем узнала их я, Наталья Филипповна Полторацкая вспоминала, как лежала в гипсовой колыбели Хелен, окруженная пеной тончайших кружев, которыми было обшито постельное белье, кружев, связанных Анной Матвеевной. Уже позже, освободившись из гипсового заточения, Хелен не смогла в полной мере реализовать свой талант керамиста и скульптора из-за неопозволительных для нее физических нагрузок, сопровождающих творчество в этих видах искусства.

Лина выросла, и ее друзья становились друзьями этой удивительной семьи. У нас была любимая учительница, преподававшая математику, Нехамы Иосифовны Глезер. Даже перейдя в другую школу (объединились мужские и женские школы), мы ходили на Ремесленную, к Нехаме Иосифовне, умнице и красавице. Ее красота была необыкновенной — древняя еврейская красота, красота Юдифи или какой-нибудь другой библейской героини. Мы бегали к ней с радостями и слезами наших первых влюбленностей. К ней же ходили наши мамы — делиться тревогами и заботами, радостями (когда я прислала родителям телеграмму о поступлении в Ленинградский университет, моя мама с радостной вестью побежала прежде всего к Нехаме Иосифовне!). Когда через несколько лет после школы Лина собиралась уезжать в Италию, Елена Осиповна пошла со своими волнениями к Нехаме Иосифовне. Узнав, что ее любимица Лина Шац уезжает в Италию, мудрая Нехамы Иосифовны воскликнула: "Очень хорошо! Слава Богу! После всего, что пережила ваша семья — это возмездие!".

Так вот, мы окончили школу, и через год Лина поступила в Московский университет. Там она познакомилась с итальянцем, за которого вышла замуж и, выдержав все испытания, которые на нее обрушились за это, вырвалась из советской паутины и уехала в Италию.

К счастью, Хелен с Анной Матвеевной уже не были одиноки, После всех страданий, горя, мук, реабилитированные вернулись в Одессу, — и Джозеф Мюллер, увы, недолго проживший (его я, к сожалению, плохо помню), вернулись Жозефина и Эдуард Иванович. Это была чудесная пара — высокий, сухощавый, с поселившейся навсегда печалью в глазах Эдуард Иванович и красавица Жозефина с длинными светлыми волосами (за что мы называли ее между собой Ундиной) и мюллеровскими синими глазами.

Сестры были и похожи, и, одновременно, были совершенно разными. Жозефина всегда (она и сейчас осталась такой!) была энергичной, способной на решительные и смелые, неординарные поступки.

Хелен была драгоценной "вещью в себе". Как-то я сказала Лине: "Хелен — словно благородная жемчужина, створки раковины которой открываются не многим". Если бы пришлось одним-единственным словом определить характер этой женщины, я бы выбрала — безупречность. Безупречность художественного вкуса, тонкий артистизм, безукоризненность манер и завораживающая женственность.

Ее внутренняя жизнь осталась невыплеснутой, невыговоренной драмой. Но "среди мытарств, во времена немыслимого быта", этот самый "немыслимый быт", как вызов, как сопротивление, как защиту от мерзостей нашей жизни она превратила в художественный акт. Все, к чему она прикасалась, все, что ее окружало в доме, превращалось в подлинные произведения искусства.

За годы нашей долгой дружбы с ней я не уставала восхищаться и удивляться ее умению быть красивой всегда, в любых обстоятельствах.

Как она умудрялась шуровать у плиты на Белинского, 6, выгребать золу и делать другую подобную работу, оставаясь всегда "прибранной" (ни разу я не застала ее в затрапезе)? Всегда дома она носила строгие и в своей простоте элегантные платья, украшенные брошью. Никаких шлепанцев! Особенно поражали ее красивые руки с безукоризненными ногтями. Однажды мы с Анечкой все-таки решились спросить Елену Осиповну, как ей удается всегда сохранять такие красивые ногти. Она улыбнулась своей неповторимой улыбкой и поведала простой секрет. Перед тем как мыть окна, пол, стирать, словом, делать что-то подобное, она просто на ногти кладет несколько слоев лака. Так просто!..

С Хелен было интересно разговаривать, но с ней хорошо было и молчать.

Иногда у нас получались милые "девчонки". Я не успевала войти, звонила Жози. Хелен говорила: "У меня Валя". — "Еду!". О, наши обще-

ния втроем! Иногда получалась более обширная компания — моя Анечка, а то еще приезжали подруги и коллеги Эдгара — Галя и Лена. За круглым столом на кухне сколько было проведено веселых, счастливых — неповторимых — часов!

В декабре 1987 года она уезжала к Лине в Италию. Ей так хотелось успеть к Рождеству! Я приехала попрощаться. Когда, уже нажимая кнопку лифта, я еще раз оглянулась, она стояла в дверном проеме, несколько наклонив голову к плечу, и, улыбаясь, сказала мне вслед: "Не горюй, я скоро вернусь!".

Она поспела к Рождеству ("Католик, он дожил до Рождества"), и на Рождество ее не стало.

В последние дни и часы ее земного бытия Бог подарил ей чудо рождественской Венеции, а потом в Милане, в больнице, — руку дочери, которую она держала в своей до последнего вздоха.

Она похоронена на беломраморном аристократическом кладбище в Вачаго, под Миланом, среди итальянской красоты пейзажа. Над озером. На ее могильной плите в трех строчках — вся география, пространство ее судьбы:

Родилась в Филадельфии.

Жила в Одессе.

Умерла в Милане.

Говорят, что Оттуда никто не возвращается, потому что Там, на Небесах, хорошо, Я надеюсь на это.

